



**Борис ЕВСЕЕВ**

Борис Евсеев — лауреат премии Правительства РФ в области культуры и премии «Венец», Бунинской, Горьковской и других литературных премий, финалист «Большой книги», «Русского Букера», «Ясной Поляны».

Евсеев — писатель трудной и интересной судьбы, справедливо причисленный критикой к «задержанному поколению» нашей литературы.

Получил музыкальное, журналистское и литературное (Высшие литературные курсы при Литинституте имени М. Горького) образование.

С 1991 года печатается в ведущих литературных журналах: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Континент», «Москва», «Новый журнал» (США) и др.

Автор книг прозы «Баран» (2001), «Отреченные гимны» (2003), «Власть собачья» (2003), «Русские композиторы» (2002—2010), «Романчик» (2005), «Площадь революции» (2007), «Чайковский» (2008), «Живорез» (2008), «Лавка нищих» (2009), «Евстигней» (2010), «Красный рок» (2011), «Пламенеющий воздух» (2013) и др.

В последние несколько лет о творчестве Б. Евсеева написаны более ста семидесяти статей, рецензий, заметок, целый ряд диссертаций.

В вузовском учебнике «История русской литературы XX века» (часть 2, под ред. профессора В. В. Агеносова) Евсееву посвящена отдельная статья.

Двумя изданиями вышли книга доктора филологических наук А. Ю. Большаковой «Феноменология литературного письма. Проза Бориса Евсеева» (2003, 2004) и книга кандидата филологических наук А. Ю. Кирова «Русские каприччо Бориса Евсеева» (2011). Снят документальный фильм «Люди и судьбы. Борис Евсеев» (автор А. Марущак, телеканал «Скифия», 2011). В том же году на телеканале «Культура» вышла программа «Линия жизни», посвященная творческому пути Б. Евсеева.

Проза и эссе переводились на английский, болгарский, голландский, итальянский, испанский, китайский, немецкий, эстонский, японский и др. языки.

В настоящее время — профессор кафедры творчества Института журналистики и литературного творчества.

Живет в Москве.

# ГУЛ ЗЕМЛИ

## (БОБРОВЫЙ ОСТРОВ)

### РАССКАЗ

Рисунок Настасьи Поповой

**Х**руст коры, треск лопнувшей льдины, ярко-пламенный разрыв серенького зимнего неба над Южным портом. И опять рыхлый, падающий крупными хлопьями снег: кйжа.

*Правдивые истории не бывают слишком связными. Прилипчивая, как смола, несвойственная реальной жизни «связность» вызывает тошноту и озноб, заставляет судорожно хватать ртом зимний кочковатый воздух.*

*Вот и только что выведенные на бумаге начальные фразы этого рассказа: они не имеют тесной привязки к середине или концу — пришли ниоткуда, уйдут бог знает куда.*

*А начало, скорей всего, будет таким...*

Доводилось вам зимой, по льду, чуть шаркая грубыми подошвами, перебираться на Бобровый остров? Сделать это несложно, нужно лишь обуть сапоги и на всякий случай взять в руки длинную палку: вдруг полынья?

Остров появился недавно, ему нет еще и ста лет. Возник он посреди озера Кривая Баба, которое позже слилось с Нагатинской заводью. Новая эта земля поднялась наверх из-за падения уровня воды в Москве-реке, потом ее досыпали щебнем, загатили хворостом и красной глиной, и теперь, наискосок от Южного порта, не россыпь озер-болот, а вполне себе чистый и ухоженный изгиб Москвы-реки.

Зимой на острове — никого. Тишина оглушает. Отряхиваясь от нежданной тишины, замечаешь бобровый, осенний еще погрыз да легкую путаницу следов: вороньих, заячьих.

Походив по острову, уже собираешься восвояси, как вдруг неясный звук: в ушах начинает разрастаться далекий плотный гул!

Вложив по очереди пальцы в уши, трясешь руками, головой...

Гул не прекращается. Наоборот: что-то поверх него в Южном порту дико лязгает, а потом с треском разрывается.

Галдят поднявшиеся в небо вороны...

Чтобы избавиться от неожиданных звуков, начинаешь про себя и вслух бормотать первые при-

шедшие на ум слова. Замолкаешь — и становится ясно: гула больше нет.

Растерянно оббежав взглядом московское раздолье — Нагатинскую пойму, Перервинские острова, едва различимую сквозь зимний туман церковь Вознесения в Коломенском, — опять утыкаешься глазами в островные кусты, деревья.

Зимний остров благостен, тих. Звуки, доносящиеся из отдалившейся внезапно Москвы, тоже стали ненавязчивыми, ласкающими.

Тут под ногами что-то сладко лопаются — как банка с замерзшим компотом на балконе, — и опять струится, а потом устанавливается в ушах слитным, хорошо ощутимым звуковым столпом низкий подземный гул.

По своим же следам, по льду, чуть припорошенному снегом, спешишь назад.

Зима сменяется весной, снежный Бобровый остров — прогретой комнатой.

*В комнату вложено слово. Какое — не ясно. Ясно одно: главное в комнате не вещи, главное — объем и вес этого немого слова.*

*За комнатой — улица. В нее вложено уже несколько слов. Слова постепенно яснее, приобретают контуры, цвет. Слова эти вот какие: серо-аспидная «длина»; изумрудная «высота»; беловато-прозрачный «шум»; синенькая «скорость»...*

*Высота нашей улицы определяется не домами — деревьями. Высота — тридцать пять метров. Эту высоту определили своими верхушками березы и осокори. А шума улицы не слышно потому, что от него отвлекает все тот же далекий, низкий гул...*

*Вдруг — три-четыре голоса сразу.*

*«Ну, вы же, конечно же, знаете: существует такое явление — гул земли. Вы меня слышите, меня понимаете? Нам, людям, всегда нужен сильный импульс, толчок. Гул земли такой толчок и дает. Выбирайтесь-ка на природу, там как раз и услышите».*

*«Все это пустые слова. Вам бы подлечиться как следует. Гул в ушах от высокого давления».*

*«У вас у самого с головой все в порядке?»*

*«А у вас?»*

*«Меня голова пока не подводила. Уши — да. Глаза — да. Голова — нет».*

Дни идут, даже скачут вприпрыжку. Вмиг поспело лето. Стало ясно: надо еще раз побывать на Бобровом...

Западную оконечность острова густо залепил туман. Поднимается ветерок, он закручивает туман медлительным и бесшумным винтом. Ленты тумана нехотя завиваются кверху, к туману начинает вязаться подтекстовка. Тут же, на случайной рекламке, пишутся разрозненные слова и сразу ключьями летят в воду. Но стержневое слово, оно накаливается на руке синим «шариком».

Писать на руке — сладкая и невыводимая школьная привычка. И место для этого есть превосходное! Сухожилие между большим и указательным пальцами. В школе удавалось на этом пространстве уместить две-три формулы, иногда — придаточное предложение. Но теперь на кисти левой руки, между костяшкой пальца указательного и нижним суставом пальца большого, поместилось лишь одно сдвоенное слово: «гул-остров».

Слово, наколотое на руке, саднит и печет, но смотреть на него приятно. Да и сама нелепая попытка что-то на ходу записать не огорчает — веселит.

Теперь остается на остров переправиться. Самое удобное место — трактир на берегу. Однако в трактире сандень. Так, во всяком случае, значит-ся на табличке, приколоченной над деревянными воротами, ведущими в просторный трактирный двор.

Толкнув калитку, входишь.

Квельый официант в безрукавке. Косо нацепленная бабочка в горошек. Тянет-гундосит: «Санитарный де-ень, посторонним нельз-я-я!» Потом спохватывается:

— Вообще-то на острове сейчас — конкрет-шоу. Так что если желаете... Там и перекусить можно. Вам с собой заверну-уть или попозже прислать?

Никогда не знал, но от трактира к острову — наверное, для вытрезвления хлебнувших через край посетителей, — снует туда-обратно лодочка...

Летний остров совсем не похож на остров зимний. Бобровых погрызов стало больше, птицы — не одни надоевшие вороны: самые разнообразные. В траве изгибисто мелькнул хорек, а может, это была ласка.

Лодка ушла, ты не спеша осмотрелся.

Внезапно за деревьями — человек: синий форменный китель, рваные бермуды, высоко и осто-

рожно, как в замедленном кино, поднимает ноги. На ногах ласты.

Мимовольно оглядываешься. На острове, ясен пень, ни полиции, ни другой охранной власти. Табличек «Кабель» или «Продуктопровод» тоже не видно. Даже вездесущие рекламные щиты с геморроидальным подтекстом — «Проктор энд Гэмбл», и те глаза не мозолят. Зато неожиданно между ольхой и молоденькой сосенкой — табличка:

*«Территория мысли»*

Слова выведены на куске березовой коры. Краска яркая, оранжевая, буквы — фигуристые. Правда, непонятно: табличка должна прибывших на остров приманивать или, наоборот, отгонять?

Снова человек в кителе и в ластах. Теперь появился со стороны Марьино. Ласты при ходьбе издают чмокающий звук, квакают, как резиновая лягушка.

— Неужто плавать здесь будете?

— Просто везде колючки, а тапочки продрались к чертям свинячьим, вот и приходится ходить в ластах.

— Эпоха дуралеев в маскарадных костюмах и совковых дворников давно сгинула...

— Значит, эпоха российских дворников наступает! Хотя... Не все так просто. Вы вот, наверное, на китель мой смотрите и думаете: вот что нынешняя власть с человеком сотворила, куда его запрото-рила! Да, власть. Но не наша, российская. Власть слова меня сюда загнала и за глотку держит...

— Это какое ж такое слово человека на остров загнать может?

— Ю-ри-ди-чес-ко-е...

Человек в кителе и ластах легонечко поправляет прическу. Она у него странная: лоб и темечко недавно острижены наголо, а вот за ушами клоки мягких, каштановых, почти женских волос...

Воздух густеет, и хотя на небе всего два-три облачка, становится душно, как перед грозой. Текст, который до этой минуты безостановочно верстался внутри, начинает трещать по швам, рассыпаться. Поток слов уже не ощущается как неизбежность, как намертво врезанная в ладонь линия бытия.

Оборвав разговор на полуслове, спешишь к берегу.

— Эй, погодите! Послушайте, чего скажу... Я бывший военюрист. А мечтал быть прокурором, эдаким, знаете, непоколебимым утесом. Вроде шотландского юстициария. В сущности, зачем врать? Именно старшим юстициарием я всегда и мечтал стать. Но только нет у нас таких должностей. И потом: не из-за должности я здесь...

Ты уже на берегу. Лодки нет. Правда, квелый официант уверял: если помахать чем-то белым, назад переправят без задержки.

Ты снимаешь светлую безрукавку, долго и зло ею машешь...

Старший юстициарий тоже причапал к берегу, стоит за спиной.

— Не уезжайте так сразу. Дело есть.

С недоумением оборачиваешься.

— Я хотел сказать... В общем, юстициарием я, конечно, не стал...

— Что так? Не получилось спектакли про древних норманнов до пенсии разыгрывать?

— Хорош вам издеваться. Должность у меня, кстати, была нужная, к тому же опасная: юристов в армии не слишком любят.

Он вынул плавательные очки и, утвердив их на темечке, поочередно постукал по пластмассовым стеклам ногтем среднего пальца.

— ...загнали меня сюда, на остров, не военные расхитители и не армейские задираки.

— А тогда кто ж?

— Язык наш русский сюда загнал. Конечно, не весь язык, а только часть его. В общем, дикий наш «юряз», смешанный с блатной феней, сюда меня запроторил! Все эти «осужденные», «терпилы» и прочие слова-персонажи. Для меня каждое слово не просто свист и шум: я его в образах вижу! Из-за такой ясной вообразимости слов что-то непонятное «юряз» с моим нутром и сотворил! Сочетание заскорузло-корявого языка с землей, по которой ступаешь, с воздухом, которым дышишь, так сдавило — моченьки нет... Захотелось всех этих «осужденных», все «возбужденные» дела, все попытки «выбить чистуху», надеть «броник», вызвать «гиббона», посадить его в «кандей», отвезти для опознания в «ГлавДурь», поставить там на лист «колотуху», поймать «окуня», чалиться с ним рядом на шконке, считая дни до той минуты, когда освободит «зеленый прокурор»!.. Так вот: захотелось все эти слова зарыть глубоко в землю. Чтобы они здесь, на острове, дохлой рыбой перегнили, стали хоть чем-то полезным.

— «Гиббон» — этот сотрудник ГИБДД?

— Ну.

— А «кандей»?

— Теплое местечко для заключенных в спецавтомобиле. «Колотуха» — печать. «Окунь» — тупой подследственный... «Зеленый прокурор» — побег из мест заключения летом. «Белый прокурор» — побег зимой... В общем, устал я от «юряза» и от взяток, вышел в отставку и назначил себя старшим юстициарием!

— Вон оно как...

— Вы, я вижу, про «кандей» и «гиббонов» ни черта не поняли. А некоторые слова, между прочим, напрямую влияют на человеческие органы! Понимаете? Дырявят их и насквозь проедают, грызут эти органы и прогрызают до дыр!

— Бросьте преувеличивать...

— Да поймите вы! Дрянные слова — программируют болезни тела! Есть такие слова, есть. К примеру: «Жизнь, хоть удавись!» Или: «Провались оно все пропадом!..» Или: «Урою тебя, мразь». Эти и подобные им слова сперва нас инфицируют, а потом убивают! Их нужно истреблять как сифилис, как СПИД! Вот я дрянные слова здесь, на острове, и уничтожаю, обезвреживаю, как мины. И должность моя, если ее обозначать полностью, теперь зовется так: «старший юстициарий по надзору за искоренением дрянных слов».

Он на минуту смолк.

— Вы только больным на всю голову меня не считайте, — опять со страстью заговорил человек в ластах, — каждый должен служить своей должности верней, чем обществу, преданней, чем государству! Но военюрист — это не для меня. Вот и возмнил: стану юстициарием! И быстро должность воображаемая ко мне приросла. Странная она, конечно... Но служу я этой должности честно и преданно! И это, понятно, не всем нравится.

— Юстициарий в кителе и драных бермудах... И впрямь, не все оценят. Ну, хорошо, сейчас лето, а зимой? Зимовать, что ли, здесь будете?

— Зачем? У меня дача есть. Там с новой должностью и со всем, что к ней прилагается, разбираться буду...

— А здесь, значит, только перед самим собой театральничаете, на власть и на военных киваете, а сами от жизни спрятались, червями и рыбами руководите?

— Правильно мыслите, но не совсем... Тут ко мне недавно отец Дионисий из соседнего храма на лодке приезжал. По просьбе моих же родных — убеждал смириться.

— Не убедил?

— Рассказал я отцу Дионисию одну историю, по поводу «верки» с легендой, так он быстренько на весла — и был таков. Только брызги над кормой засверкали!

— «Верка» — это вербовка?

— Ну.

— Что за история такая?

— Про игровые автоматы.

— Помогали прокурорам крышевать игорные залы в военных городках?

— Шутку оценил. Только здесь — пальцем в небо. Просто в свободное время игру исследо-

вал. А для исследований — трех шпанюков в автоматы засадил. Один из них, правда, чуть не задохся, но дело свое и он, и двое других сделали. Кое-что новое про механику выигрышей внутри автоматов высмотрели. Заодно и систему отладили, так что внакладе не остались...

Туман, вроде рассеявшийся, возвратился, лег плотней.

Мысли твои тоже затуманились. Юстициарий это сразу почувствовал:

— Ладно. Идемте поближе к шалашу. Покажу вам отлаженный автомат. Я и здесь исследований не прекращаю.

— И тут есть кого в автомат запихнуть?

— Сейчас не надо запихивать. По другому руслу исследования пошли. Я ведь теперь — городской островитянин, новую островную философию в игре ищущий!

В глубине острова мерцают огоньки, курятся крохотные зеленые смерчи, еле слышно щелкают рычажки, сыплются мелкими порциями монеты. Автомат чистенький, новенький, поигрывает лампочками и прямо-таки сияет от счастья...

— Откуда на Бобровом электричество?

— Так еще в конце 60-х из Южного порта провели, до сих пор пашет. Но я круглые сутки не жгу, энергию сберегаю!..

От попыток совместить свой внутренний текст с восклицаниями военюриста темнеет в глазах, сохнут губы, возобновляется гул в ушах. Нить разговора теряется, ты стоишь дурак дураком...

От гула и остоленения избавляют не мысли, не туман, избавляет — имя-фамилия. Старшему юстициарию, видно, надоели автоматы, и он перекинулся на другое.

— ...понимаете? Вратарь, и при том — Антипа! Здрóрово это сочетание меня тогда по ушам резануло. А он еще шутил: «Я, типа, Вратарь, я, типа, Антипа!» Но по порядку. Послали меня в командировку на Кольский полуостров по одному неприятному делу. С досадой им занимался. А потом Антипу Вратаря встретил. И все стало другим! Он — бывший подводник. Всю жизнь на Севере — а лицо темное: то ли от загара, то ли — печеночник. По службе никаких косяков за ним — это я узнал позже — не числилось... Ладно, айда в шалаш, там поболтаем.

Перед шалашом табличка:

«Осторожно! Zlufen собакен und zluken сукен»

В шалаше, на распялке, — еще один синенький, без пылинки, военно-прокурорский мундир.

— Два года назад заказал, а носить не пришлось. — Низкорослый юстициарий быстро, по-собачьи, почесал носом под мышками. При

этом лицо его, скуластое, подростковое, с каштановыми бровями и такими же ресницами, стало внезапно плаксивым.

— А сюда мундир зачем приволокли? Ужей пугать?

— Ужей тут нет. Одни бобры. А вы... Как же не понимаете? Без мундира — нет закона. Тут безлюдье, но и тут закон нужен. Где мундир — там и закон! При этом мундир — все тот же актерский костюм. В каком костюме на сцену выйдешь — такую роль в жизни и сыграешь. Но я не про мундир — про Антипу Вратаря доскажу лучше...

Место это на Коле, близ Мончегорска, военный юрист заметил сразу. Вышел за город продышаться, а место — тут как тут! Среди остро ранящих камней одно такое и было. Вокруг обожженные ветром скалы, ледяные остовы сгоревших деревьев, а в расчищенном месте, близ пещеры, — тепло, затишно.

В пещере ночник на диодах. В мертвенном свете ночника — человек.

Военюрист человек подмосковный. Моряк — человек Севера. Что между ними общего? Да, в общем, ничего. Только неумное желание рассказать свой мир другому. Только неусыпная воля: через простенькую историю сотворить собственную вселенную воды, камней...

Подводник говорил первым.

Обрисовал жизнь с нескольких сторон, рассказал про начинающийся в этих местах хребет под названием Волчья тундры и про мертвую техногенную пустошь, близ Мончегорска раскинувшуюся: с голыми коленками ив, с кривыми обрубками сосен. Еще — про бурых медведей, повадившихся грабить продуктовые палатки, густо натканные по краям города.

Но вскоре моряк заговорил об ином.

Побежали картинки, поплыло их звуковое сопровождение.

Вот проводят подводную лодку через узкий Кольский залив — звук бурлящей воды, прощальная сирена. Потом сразу звон и свист, здесь, на Коле, в незапамятные времена прорубленного тоннеля, который, по словам Антипы, вел не куда-нибудь: в саму Гиперборею.

Ледяная речь, надорванное серьгой крылышко ноздри, скорбное печеночное лицо моряка, и где-то глубоко внизу сказочно цветущая Гиперборея! Все это было трудно увязать, осмыслить...

Время от времени Антипа покалывал крылышко ноздри острым черным ногтем. Это наводило юстициария на размышления. Однако сильнее всего его притянули не корабли, даже не Гипер-

боря. Затаив дыхание слушал военюрист про другое.

— Мы под водой разные состояния переживали. — Антипа улыбнулся, перестал поглядывать ногтем воспаленную ноздрю. — Главное дело жизни у нас по ночам было — «не спугнуть глубину!»». Где ни живет мужик, где ни плавает, а к сорока годам становится ему тяжело, муторно... Так и я. Устав стеречь чужие корабли, сдав вахту, просто ждал, когда тишина мира и подводная глубина уравновесят друг друга и покажется вход в жизнь иную. Правда, больше всего страшился, но и ждал услышать — гул земли! Легкий, вмиг преодолевающий толщи вод, перекрывающий шум моторов. Гул этот был бессловесным, но что-то определенно сообщал. Потом стало ясно: гул земли — постоянно обновляемое высказывание глубин о том, что у нас тут, на поверхности, блин, происходит! Причем гул нес мысли и образы не то чтобы непривычные. А... как бы это сказать? Полустертые, отринутые, из сознания всегда вытравлявшиеся. Только не дослушал я гул. Списали меня с флота...

*Пресытившись к сорока годам жизнью, в линиях морской робе, с початой бутылкой пива Holsten в руках стоял Антипа на скале, на мысе Великом, у накрепко запертых ворот подводной Гипербореи.*

*Далеко внизу, заостренными щепками, плыли корабли, буксиры. Видел их Антипа еле-еле: он стеррег гул, стерег время. За спиной его простиралась не технологические пустоши — простиралась Новая Арктида. И вокруг этой новой страны, возникшей как продолжение чудесной Гипербореи, раскинулась не обожженная ветрами тундра — сияли красками невысокие охристые рощи, надежно защищавшие от ножевого ветра.*

*В глубине роц раскинулись скатерти нескончаемых пиров. Не моряцкие дикие пьянки — сладкие всплески не долетающих до земли винных струй звучали и длились в этих роцах!*

*Труд в охристых роцах тоже был как пир: радостно велся и горячо. Жизнь не угнетала, не калечила — продолжалась до полного пресыщения! И обрывалась только по неотступному желанию кого-то из пирующих.*

*Антипа видел: время от времени некоторые из жителей Арктиды весело и ловко, не снимая золотых, тесно облегающих тело одежд, кидаются со скал в ледяное море. При этом было ясно: тела кидающихся — безвесные, вылегченные — никакого шума и плеска не производят...*

*В подводной части Гипербореи-Арктиды тоже продолжались работные пиры. Они были медли-*

*тельны, как и любые движения под водой: событий — не торопили, душевные состояния — замедляли.*

*И только один человек в драной морской робе, в перевернутой лентами вперед бескозырке суматошничал и махал руками на пиру.*

*Антипа сразу узнал пропавшего три года назад кока Мальцева: жадный до еды-питья, но притом и диковато-тоскливый кок был ему и тогда, и сейчас неприятен.*

*Тут захотелось Антипе не только стражем незримого быть — захотелось кинуться радостно в кольский ледяной кипяток.*

*Он сделал одно движение, другое. Однако скала не отпускала, словно прирос к ней Вратарь. Тело было тяжелым, неповоротливым. Здесь Антипа сообразил: если не вылегчится тело, не осветлятся до прозрачности синеватой мысли — попадет он не в Гиперборею, пойдет топором на дно!*

*— Рано, не готов еще, блин горелый, гул земли понять, неплотность тела ощутить!*

*С болью и скрежетом зубным повернул Антипа назад.*

*А вскоре нашел в ледяной тундре пещеру, стал проводить в ней дни, проводить вечера. К ночи же, чтобы не околеть от холода, на попутках возвращался в небольшой, навсегда его притянувший город.*

*С той поры жизнь Антипы приобрела новый смысл. О чем он военюристу и сказал:*

*— Хочу дать свое толкование Новой Арктиде, хочу сообщить имя подводному гулу. Хочу раскодировать те слова, что Великий Гул произносит...*

— ...говорил моряк и про другое. — Старший юстициарий по очереди промокнул рукавом кителя пушок над ушами. — Только позабыл я. Хотел, конечно, моряку помочь. Без жилья он остался. Отсудила жена квартиру. Но не стал связываться, угреб отсюда. Виноват, ясен перец... Но это потому, что сам стал слышать треклятый этот гул. Вытряхните его из меня! — кинулся он вдруг к тебе, однако споткнулся, упал, но даже лежа продолжал орать: — Не в силах я больше выносить его!..

Тут военюрист неожиданно успокоился, сел, потрогал зашибленный локоть, потер правый висок.

— Инсульта у вас не было?

— Бросьте вы ерундить! Инсульт, физкульт, совет, привет... Говорил, кстати, Антипа и про то, что лучше подохнуть, чем променять гул молчания на слова никчемной жизни... А я вот не стану подыхать, гул на слова менять не стану! — внезапно осерчал он. — Лучше на бабу его променяю!

— Прямо солугубовщина какая-то.

— Да что там гул! — не слушая возражений, продолжал орать военюрист. — Антипа научил меня мысли с поверхности воды считывать! Вынимать их из водной, сверхинформационной глубины!

— Тогда рыбы из нас самые умные.

— Не рыбы, а подводные растения! Вы сквозь воду на растения на подводные смотрели? Вот где движение мысли! Тихо клонятся вбок — говорят о смерти. Сладко выравниваются — говорят о вечной жизни. Там, под водой, территория мысли!

— От химической отравы ваши растения вниз клонятся. А вода, она...

Ты осекся, потому что вдруг вспомнил: вода и впрямь говорит! Не бормочет, не напевает дурацкие «песни ручьев», а ясно и внятно сообщает, приказывает!

Ты вспоминал воду детства и воду юности, теперешнюю воду и воду позавчерашнюю. Ты кричал на юстициария и упрекал его в безмозглости солугубовщине, а он прыгал вокруг тебя, как дичара, корчил уморительные рожи. Но внутри себя ты тоже кривлялся и буйно радовался: поверхностная мысль, занятая пустой перепалкой, отлипла, наконец, от главного, перестала портить то, что скрывалось в глубинах ума, чувств.

Военюрист напор чужих мыслей ощутил, из шалаша стремглав рванул.

Ты — за ним.

Тут из-за деревьев выдвинулась и встала, избочась, креолка в пуху и перьях.

Перья у нее были в волосах, птичий пух цеплялся за причинное место. Другой одежды кроме пуха и перьев на креолке не было. Только на голове маленькая, едва ли не детская, прокурорская фуражка. И хотя на острове было жарко и не иметь на себе одежды было делом вполне понятным, ты не сдержался, в голос заржал:

— Так это все из-за бабы? Вы тут бабу в шалаше по-всякому имеете, а снаружи для нас, бестолочей, мозглявую философию разводите?

— Именно так! Женщина во время соитий как раз и оттеняет главные мысли, не дает им погибнуть.

— А как же подводные лодки, где женщин нет, а мысли есть?

— Так там только про женщин и думают, мне это Антипа сразу сказал. Женщины, их телесные формы — повторяют формы и назначение мира: приятно колыхаясь, исторгать из себя рождение и смерть. Кстати, когда подводники выходят на сушу, они уже про другое думают. Пьют без продыху, продуваются в карты, чтобы закрыть от себя глубины жизни. Словом, сјkjue, jdbuyf!

— Что за идиотские слова вы опять выдумываете?

— Не обращайтесь внимания. Просто раскладка в моем внутреннем компьютере поменялась. Так теперь в моем мозгу ваше словцо «солугубовщина» читается. Скажите свое полное имя... — Юстициарий молитвенно сложил руки. — ...И я у вас в голове тоже поменяю раскладку, поменяю шрифты, поменяю саму жизнь!

— Пшел вон, дурак! В зад себе изменения эти засунь!

— Да вы... вы просто тряпка.

Ты схватил юстициария за грудки, но сразу и отпустил, потому что увидел: сквозь листву продолжает выгибать бока тонкокожая креолка.

— Ладно, — неожиданно рассмеялся островитянин, — не сердчайте. И про раскладку забудьте. Шрифты и раскладки в голове — для среднего ума. Важно другое: я бужу в себе азарт, но азартным не становлюсь. Азарт мне для мыслей нужен. Чувственная мысль — сильнее мысли обычной. Эмоциональный ум — плодотворней, чем просто ум. Когда во мне чувственной мысли нет — я тот же автомат с лампочками! Обесточиваюсь, мигаю, перестаю себе мелкой монетой выигрыши выдавать. Но в схемах, что внутри меня, уже произошли разительные перемены. Скоро я начну выдавать не выигрыши — проигрыши! Смертную казнь через повешение — не желаете? — стал опять свирепеть он. — А насчет четвертования как? Все равно людей что ни день расчлениют. А казнь — это вам не расчлененка, это закон!

— Что-то я не догоняю...

— Сам раньше не догонял, а теперь понял: наше сегодняшнее правосудие — дерзкая и опасная игра в поддавки! Мы попустительствуем преступлению, делаем его смыслом жизни для многих и многих. Иногда наоборот: играем в сыщики-разбойники! Помните, в детстве? Никто не хотел быть сыщиком, все валом валили в разбойники! Нынешнее правосудие буксует потому, что мы все, поголовно, хотим стать бандосами. Даже те, кто сейчас сыщик или прокурор. Не удержались мы, съехали с реек! И давай грабить, убивать, хоронить живые еще души! И в глубине этой дерзкой игры потерялись нужные до зарезу слова: смертная казнь! А ведь смертная казнь — прообраз вечной смерти, которой должны быть подвергнуты здесь, на земле, все неизбранные!

Ты оглянулся. На острове — вы, трое. Но почудились вдруг глазки в кустах...

Юстициарий продолжал орать:

— Мы обожаем убивать в беспамятстве или в угаре. А по закону убить — не смеем! Мы не люди,

мы тусклые лампочки-диоды! Причем включают и дистанционно выключают нас шустрые айтишники с длиннющими хвостами... Зарубите себе на носу: суть смертной казни — в вечной смерти! Казненный человек не попадает ни в ад, ни в рай, его ждет нечто худшее: нескончаемая, вечная смерть! Вот потому, как только наше правосудие из игрового станет всамделишным, восстановит в правах смертную казнь и сопутствующую ей вечную смерть, — я вернусь!

— Под руку с креольской голой бабой?

— А хотя бы с ней. Может, скоро указ такой выйдет: осуждаемым на вечную смерть будут принудительно, как в хроматоскопе, показывать все, чего они лишаются, в том числе креольских голых баб!

— Да вы изувер!

— Просто людей обманывать не хочу. Мы, мол, добренькие, либеральненькие, и поэтому вы — скоты и убийцы — качайтесь себе в гамаках, живите припеваючи под нашим неусыпным присмотром... Кстати! Я здесь и акваланг припас. Сижу, бывает, под водой, как та лягва. Глазами — зырк-зырк. Информацию с поверхности воды — шелк-пошелк. А креолка на суше горюет, слезы льет, дура. Думает, утонул. Так вот: в воде, в этом более или менее чистом, не изгаженном гламурятиной поле, проносится информация — мама не горюй! Библия — отдыхает. А мы тут все с мигрантами чикаемся! — нежданно-негаданно перекинулся он совсем на другое.

— Опять таджиков с азербайджанцами во всем винить будете?

— Вообще-то верно. Переборщили мы с ними. А ведь за ними мудрость Востока. Стал я как-то с одним подследственным азиатом про гул земли беседовать, а он возьми да и брякни: «Гул земли — это просто распоясавшийся низший дух. У нас в горах его так и зовут: Гулллл!»

Юстициария внезапно как ветром сдуло. Всплыл полузабытый эпизод.

Дело было в горах Киргизии. Собрались на журналистско-писательскую тусовку несколько десятков человек. Поселили над Бишкеком, в горах Ала-Тоо. База горнолыжная летом пустовала. Места много, времени тоже. Предстояло провести на базе три дня и две ночи. Ближайшее селение — в двенадцати километрах. Высота над уровнем моря — 3600. Рядом — урочище Ала-Арча. Зелено в горах и прохладно: август. По утрам хрипло и нежно гоготали дикие индюки, улары. Вечером и ночью за территорию базы выходить запрещалось: только-только отпылал узбекско-киргизский

конфликт. И хотя случился он много южнее, в Джалал-Абадской долине, здесь, в нависших над Бишкеком горах, было тоже неспокойно. Говорили: именно сюда перебрался Черный Айбек — по паспорту Айбек Мирсалимов, — который весь этот конфликт и замутил.

Но сильнее всего пугал несуетных наших хозяев не Черный Айбек, который, как рассказали, давно пресытился и войной, и пирами жизни, — пугал появившийся здесь огромных размеров рыжий волк. Зверь редкий, зверь, занесенный в Красную книгу, на человека раньше никогда не нападавший, да и размерами обычному серому волку сильно уступающий. Но то было раньше, а теперь...

Как раз перед нашим приездом рыжий растерзал молодую женщину и утащил ее шестилетнего сына.

Выйдя вечером на крыльцо, ты прислушался. Волчьего воя слышно не было. Хотя еще вчера он вволю разносился над пропастями и кустарником.

Волков ты не боялся, знал два-три жеста и несколько звуков, которые вмиг хищников обездвизивали. Звуки эти были странные, ни на какие другие не похожие, произносить их можно было только в случае крайней опасности и только при встрече с волком или бешеной собакой. Звукам и жестам обучила бабушка, которая в 50-е годы сама с волком в новороссийской степи столкнулась и осталась жива. А волк этот несколько лет подряд приходил огородами к нашему дому, стоявшему на самом краю маленького курортного городка, и тоскливо подвывал. Волчица скулит. Волк воеет. Вой этот ты слышал собственными ушами и знал: воеет волк, заматеревший, крупный...

Думая про того, давнишнего волка и отойдя довольно далеко от базы, стал уже поворачивать назад, как вдруг раздался неясный звук. Пришлось укрыться за камнем.

Показался пастух. Вчера он уже приходил на базу, судорожно вздыхая, дрожащими руками катал по сукну бильярдные шары. Это его жену растерзал, а шестилетнего сына утащил и тоже, наверное, кончил рыжий волк.

Сейчас пастух ступал мерно, обреченно. Белый войлочный колпак его сбился набок. На руках он нес мальчика. Тот был мертв. Лицо мальчика было не по-восточному светлым, тело — ничуть не оцарапано.

— Уллым, уллым, — едва ворочая коснеющим языком, причитал пастух.

Ты уже хотел выйти из укрытия, чтобы пастуха встряхнуть, может, дать ему леца, крикнуть — жизнь не кончена!..

Вдруг раздался новый звук: мелко просыпались камни, и откуда-то сверху, по укрытой зарослями



тропе, сбежал увешанный оружием белобородый, однако совсем еще не старый человек в новеньком камуфляже. Через плечо его был перекинут автомат с подствольным гранатометом, за поясом — штурмовой револьвер РШ-12, на спине — армейский ранец.

Спустившийся посмотрел сердито на пастуха, чуть повременил, бережно взял из рук его мертвого мальчика и куда-то со своей ношей ушел.

— Гулл, Гулл, — чуть переменял звуки пастух, — Аш-Хаду Анла... Свидетельствую — что нет! Аш-Хаду Анла... Возьми, Гулл, мертвого, отдай, Гулл, живого...

Ты повернул на базу. «Гулл! Гулл!» — неслось вдогон.

На следующее утро в уши случайно влетел разговор русского картографа и киргиза, начальника базы:

— ...мертвый малец в гнезде у кумая был. Кумай — по-вашему снежный гриф. Перо белое, голова плешивая. А весит — ого-го! Пятнадцать кээз весит, однако. Крылья — три с лишним метра в размахе.

— Брось заливать.

— Не брось, а в гнезде у кумая малец нашелся. Волк мальчика на потом припрятал, кумай у волка

мальца украл. Уже мертвым в гнездо принес. Только пустое гнездо у кумая теперь... Когда кумай улетел, пастух мальчика забрал. Пока нес — умом тронулся. Человек Черного Айбека — мутный человек, непонятный человек, может, сам низший дух, может, Белый Гулл!.. Плохим людям этот Гулл несет плохое, хорошим — хорошее... Дальше так: человек Айбека пастуха встретил, мальчика отнял, в гнездо отнес. дождался снежного грифа, убил его. После положил мальчика и кумая рядом, а гнездо поджег. Сам кричал, сам, обжигаясь, прыгал вокруг, был жутко, как волк! Огнепоклонник, однако. Слышишь? Дымком тянет. Это от догорающего гнезда. А может, большие пожары у нас впереди...

— Слышь, Сим? У тебя че, опять нюхалку соплями забило? Автомат игровой сгорел, говорю! Залей его водой — и айда в переговорную!

Темно-молочные, торчащие в разные стороны груди креолки — снова выставились из листвы.

— Так вас Симой зовут? Серафим, стало быть? — Ты грубо расхохотался.

— Симон я, Симон! — Старший юстициарий наклонился, стал обрывать с ног ласты.

— И куда это она вас зовет?

— Сеанс связи у нас в переговорной. По мобилке с родственниками моими говорить она будет. Да как бы не в последний раз!

Ты повернулся и медленно побрел к западной оконечности Бобрового острова, хотя на креолку еще разок взглянуть и хотелось...

Туман рассеялся, ключьями осел на воду. Бобровый остров остался позади. Лодка причалила, и официант из берегового трактира, бледно лыбясь, сказал:

— Ну че, фраерок, кранты тебе, по ходу. — Теперь он не канючил и не растягивал слова. — Много лишнего ты тут увидел... Но так и быть. Гони двести евриков и канай отсюда.

— Мы так не уговаривались.

— Двести! За конкрет-шоу платить надо, фраерок... Охрана!

Ты швырнул квелому в лицо смятую тысячу и кинулся бежать.

Не тут-то было! Квелый перехватил на бегу, у калитки. Произошла безобразная, с некрасивыми падениями и промашливыми ударами стычка. Она должна была закончиться полным твоим поражением, потому что спешили уже к забору застольные служители в крапчатых бабочках.

Тут неожиданно для самого себя, целя словами прямо в горло квелому, ты заорал:

— Урою, сука, порррву!..

Квелый официант, выламывавший из трактирной ограды березовый кол, неловко дернулся, острый конец вонзился ему под кадык.

Хлынула черноватая кровь.

Ты хотел подбежать и плюнуть квелому в зенки, но трактирные подавальщики были уже близко, рядом, и ты, конечно, дал деру...

Гул земли, гул познания и гул прозрений, летом слышен быть перестал.

Может, поэтому в начале сентября ноги сами принесли в береговой трактир.

Квелого там уже не было.

— Так это у нас тогда особая неделя была, — объяснил другой официант, веселый, со взбитым коком, — подследственных, согласившихся на сотрудничество с органами, сюда к нам иногда привозят. По официальному, кстати, договору. Тогда всех посетителей — на неделю отсюда вон! А подследственным дают порезвиться, спектакли, ролевые игры им устраивают... Они несколько дней с бабами тут покувыркаются, глотнут чего надо и что хошь подпишут. Их потом в «кандее» — назад, в Бутырки, или в Матросскую Тишину... Правда, убирать за ними — трех дней мало! Но платят за спектакли хорошо. Да и пригодится нам дружбец с органами!

Вздвогнув от слова «кандей» и сообразив — на острове теперь пусто, а военюрист Симон был просто подследственным, придумавшим для себя роль старшего юстициария, и не совравшим, наверное, только про одно, про гул земли, — ты повернул назад.

Москва-река через промзоны и пустоши стремилась к прозрачной Оке.

Все стало подергиваться смутно-осенней мглой. Правда, в зелени вязов еще вспыхивали редкие золотинки, а в прибрежных кустах резал глаз смертельно искореженный якорь. Но вскоре и якорь потонул в сухой осенней мгле.

Торопясь, ты вернулся в береговой трактир, выпросил у настоящего, а не какого-то «ролевого» официанта салфетку, отобрал у буфетчицы губную помаду, которой она собиралась подвести губы, и на рвущейся бумаге кое-как вывел те несколько слов, что от всей этой истории только и остались:

*Неубиваемы в этом мире лишь три вещи: гул земли, онемение неба, всезнание воды.*